

Недавно пересматривал старые фотографии; есть у меня такая привычка — время от времени покопаться в своём домашнем архиве. И попался на глаза снимок, где мы с отцом, оба с лопатами в руках, стоим в саду возле огромной горки сваленных в кучу яблок.

Снимок снят во второй половине шестидесятых годов прошлого века, когда я, отслужив своё в армии, вернулся домой, в Запорожье, и сразу же впрягся без лишних слов помогать родителям «по хозяйству».

Жили мы в своём доме на окраине города, на шести сотках жирной украинской земли, доставшейся моему отцу на заводе «Запорожсталь» в первые годы после войны. Прежнее жильё, где квартировали мои родители, поженившись перед самой войной, было разбито немцами, и хочешь не хочешь, а надо было обустроиваться на новом месте.

Вот мой отец и выбрал по совету цехового профкома городскую окраину, где можно было не только построить дом, но и обзавестись собственным огородом с садом. Жили в те времена трудно, и на счету была каждая копейка.

Фотография эта запомнилась мне ещё и потому, что, будучи уже на третьем курсе факультета журналистики Уральского государственного университета в тогдешнем Свердловске, я показал её в ряду прочих своим однокурсникам, с которыми жил в общежитии. И те принялись с интересом её рассматривать.

— Вот это картошка! — воскликнул удивлённо Борис Кортин, ближайший мой университетский приятель. — А ты же говорил, что она у вас, на Украине, плохо растёт.

— А ну-ка дай-ка мне, — потянулся к снимку Виктор Хлыстов, второй мой сосед по общежитской койке. — О-го-го... В два кулака клубни!

В ответ я только рассмеялся. В те дни мы как раз вернулись в Свердловск с колхозных полей после студенческой картошки в сентябре и потихоньку начинали готовиться к предстоящим в университете занятиям.

— Какая там картошка, — пожал я плечами. — Это не картошка...

— А что?

— Яблоки. Которые слегка подпорчены червями и которые падают на землю. Мы их так падалкой

и называем. А сейчас с отцом мы всё это будем закапывать в землю. Восстанавливать, так сказать, плодородие чернозёма...

— Закапывать яблоки в землю? Ну вы даёте...

Мои удивлённые друзья долго ещё вертели этот любительский снимок в руках, не веря своим глазам, и недоверчиво при этом цокали языками, в то время как я увлечённо стал рассказывать им о главном дереве нашего семейного сада в Запорожье — об огромной, как баобаб, яблоне.

Помню, как ещё в 1949 году, когда только мы начинали обживать на новом месте, отец привёз с большого городского базара тонкий и хрупкий яблоневый прутик и торжественно вручил его матери. Тогда же я услышал от него и новое для себя слово: «Безгуда». Так назывался сорт.

Прутик этот посадили в самом центре садового участка, он прижился и со временем превратился в мощное и раскидистое дерево, к которому впору было потом экскурсии водить. Его гладкий, как у ореха, ствол с трудом удерживал густые, по пять-семь метров в длину, ветки, подпираемые с земли мощными подпорками. Иначе они не выдержали бы тяжести созревающих плодов и сломались бы в первый же урожайный год.

А плодородила яблоня через год, год она «отдыхала». Но даже и в это время, находясь «на отдыхе», она не забывала порадовать своих заботливых хозяев пятью-шестью ящиками отборных ароматных плодов, вкус которых снится мне до сих пор.

Зато когда наступал урожайный год...

Уже начиная с самой весны, все домочадцы были заняты только одним: поиском деревянных ящиков для предстоящего урожая. Пацанами мы их просто «тырили» возле магазинов, подбирали на «летучих» рынках, выпрашивали у сердобольных продавщиц...

И всё равно ящиков никогда не хватало!

Потому что в урожайный год «Безгуда» приносила около сотни вёдер огромных и очень красивых яблок, аккуратные штабеля ящиков с которыми по праву занимали почти половину вместительного отцовского входного погреба.

Я и сейчас вижу эту картину: спускаешься в погреб по слегка отсыревшим от конденсата бетонным ступенькам и чувствуешь приближающуюся прохладную свежесть... А когда открываешь

настежь входную дверь, то тебе в лицо ударяет такой яблочный аромат, что просто захватывает дух!

Какая с этим парфюмерия сравнится? Кальвадос, да и только...

И надо сказать, что «Безгуда» производила яблоки очень высокого качества. Лежали они в отцовском погребе, не портясь, до следующего урожая, и это была для меня сущая мука. Уже можно было нарвать и попробовать в саду яблоки нового урожая, тот же «Белый налив», например, а мать заставляла доедать ещё и прошлогоднюю «Безгуду».

Ну не выкидывать же её на помойку?!

Поэтому я, откровенно говоря, этот сорт яблок не очень любил. Слишком увесистыми и сытными были «безгудовы» плоды, много не съешь.

Другое дело — тот же «Белый налив», о котором я упомянул. Удивительный сорт: те яблоки, что под таким названием завозятся в Красноярск из Китая или из Центральной Азии с Кавказом, и рядом с ними не лежали. У нашего «Белого налива» плоды были кисло-сладкие, очень нежные и красивые. Надкусишь — как будто бутылку холодного шампанского откупорил...

Помню, как тогда впервые по телевидению начали показывать ставший впоследствии культовым сериал про Штирлица и как мы все с нетерпением ожидали наступления вечера и начала очередной серии. А какое кино без фруктов на столе?

Вот я и готовился к просмотру фильма особенно тщательно, так как именно на мне лежала обязанность: каждому приготовить то, что он больше всего любил.

Для матери, например, надо было нарвать и помыть пару груш — больше всего она любила «Немку». Действительно, вкусные и очень сочные груши.

Отца ждал всегда с десяток «Мушкаток» — это тоже сорт груш, но они, в отличие от «Немки», небольшие по размеру. Зато возьмёшь в рот — вяжут, как айва.

А для себя я готовил всегда, если был сезон, целое ведро только что сорванного «Белого налива». С такими яблоками можно было не только телевизионные сериалы смотреть, но и всю свою жизнь прожить, если надо, не сходя с дивана. — И куды воно в тэбэ влазэ? — с удивлением говорила моя мать, когда я доедал последнее яблоко из такого ведра уже на титрах заканчивающегося фильма.

Я только усмехался в ответ: а вот влазит...

Однако нашу «Безгуду» я запомнил ещё и потому, что это самое большое дерево в нашем саду стало для меня жильём. На всём протяжении тёплого сезона в Запорожье — а он на юге Украины длится почти полгода, с мая по октябрь.

И связано это было с тем, что большую часть своего времени я проводил на улице и загнать меня вечером домой было для моих родителей настоящей мукой.

Вот мать и решила: а зачем лишний раз тормозить спящих домочадцев, чтобы мне открывали дверь, она у нас закрывалась изнутри, если можно поставить под ту же «Безгуду» просторную кровать, и «нехай вин спыть там»?

Ночи на юге тёплые, дожди у нас летом случаются не часто...

Идея мне эта понравилась, и вскоре я возвращался уже с улицы домой когда захочу. Никого при этом не тревожа и никому не мешая спать.

Но как быть с увесистыми, по семьсот-восемьсот граммов каждое, яблоками, которые нет-нет да и срывались вниз с высокого дерева на землю? Не слишком ли это опасно — подставлять под них свою голову ночью?

Решить эту проблему, как это ни странно, «помогли» комары. Они в днепровских плавнях всегда водятся в неимоверном количестве, а так как неподалёку от нашего дома пролегал балка с протекавшей по ней неширокой речкой, густо поросшей камышами, то чего-чего, а комаров ночью хватало и у нас.

Днём, в жару, они, конечно, летать опасались. А вот как только солнце скрывалось за горизонтом и какая-никакая свежесть, а всё же появлялась в воздухе, то вслед за этим, надрывно и непрерывно зудя, как выискивающие свои цели истребители, появлялись в воздухе и комары. Спасу от них не было никакого!

Не производила тогда советская промышленность каких-либо защитных средств от кровососов, видимо, было не до этого, а если и производила, то нам они были неизвестны.

Вот я и попросил у матери, чтобы укрываться под яблоней, зимнее ватное одеяло — ни одному комару оно было не по зубам!

Так я потом и спал, укутавшись плотно, с головой, в ватное одеяло, надёжно защищённый как от жаждущих моего тела кровососов, так и от падающих на голову с дерева яблок.

Оставлю в одеяле небольшую щель для дыхания свежего воздуха — и сплю себе спокойненько, умаявшись за длинный, как мне тогда казалось, день. Сплю до двенадцати, а то и до двух часов дня, приводя этим в искреннее изумление окружающую публику.

— Хай поспыть, — добродушно отмахивалась мать, видя недоумение на лицах соседней. — Щэ усние набигаться...

Как в воду глядела моя добрая и мудрая мама...

А между тем яблоки с нашей «Безгуды» падали на мою надёжно защищённую одеялом кровать всё чаще и чаще. Когда отец был моложе, то у него хватало сил не только на то, чтобы отработать

смену на заводе, но ещё и возиться по дому — что-то там подремонтировать, полить в огороде, покопаться в саду.

А когда он вышел на пенсию и стал постепенно стареть, сил поубавилось, и обрабатывать, как в прежние времена, садовые деревья ядохимикатами, защищая их от плодожорки и других природных вредителей, стало труднее. И сад с годами стал терять свой образцовый вид.

Дети к тому времени уже разъехались. Я в поисках счастья подался на Крайний Север, брат с сестрой перебрались в городские квартиры, и остались мои старики на хозяйстве одни.

А много ли одному надо? Тех же яблок, например?

И хотя моя мать по привычке по-прежнему каждое лето ещё закатывала огромное количество консервированных помидоров и огурцов, готовила баклажанной икры на зиму, варила варенья, компоты («А якщо дити придуть в гости?»), но мало-помалу родительский энтузиазм проходил, и сад ветшал, а следовательно, и природных вредителей в нём становилось больше.

Помню, как, приехав в очередной раз «на побывку» домой из Воркуты, я впервые отметил эти следы начинающегося запустения. Сидим мы с отцом под накрытием — это что-то вроде летучего бунгало, устроенного во дворе из брезента и виноградной лозы, разговариваем, а прямо у нас на глазах спускаются на паутинках с растущей рядом яблони извивающиеся на солнце гусеницы.

Плодожорка!
— Что ж это такое, отец? — вскочил я удивлённо с дивана.

Но тот в ответ только равнодушно махнул рукой. И философски добавил:

— И нам хватэ, и червам. Хай едят...

Что-то они временами ещё пытались спасти, заготавливая сухофрукты, но когда увесистые мешки с ними заполнили весь домовый чердак, бросили и это.

Сизифов труд!

И вот тут подошёл я, наконец, к главной героине своего рассказа, а всё, что было написано до этого выше, это не более чем исторический фон, без воссоздания которого многое было бы непонятно читателю.

Уж и не знаю, как в других местах, а там, где жил я, соседей называли не по имени, а по фамилии. Причём перевирая её в украинской интерпретации.

Скажем, стряпает, например, моя мама пирожки, а была она в этом деле непревзойдённой мастерицей. И по ходу этого занимательного процесса сразу же упакует их с десяток в эмалированную мисочку, аккуратно обернутую марлей, и протянет её мне:

— Виднеси цэ для Павлючыхы, хай покуштуе...

Я беру из её рук миску и несу горячие пирожки Павлюкам, которые жили от нас по соседству через один дом. Потому что так на нашей улице тогда было принято.

И не только пирожками делились друг с другом соседи. Многие в те времена держали и коз, и свиней, и кур, и даже коровы у некоторых были. А где хранить мясо, молоко, масло? Разорённая недавней войной страна холодильников ещё не производила...

Вот люди и выкручивались, как могли.

Заколот, скажем, свинью живущий от нас за три дома по улице Кнырык, и через какое-то время «от Кнырычихы» шёл к нам гонец, несая в руках хороший шмат свежака — свежеприготовленной свинины. Из которого моя мать могла в считанные минуты приготовить такой деликатес, как домашняя украинская колбаса. Или же пустить соседское мясо на борщ. Чтобы потом, через какое-то время, отправить по обратному адресу примерно такой же кусок свежеполученной свинины, но уже из своего хозяйства.

А вот для Сюрчихи, как мне помнится, я ничего не носил, потому что жила она от нас через улицу и, видимо, относилась уже к другому околотку.

Я даже не знаю, где и кем работал её чоловік, то бишь, по-русски, муж. Их угловой дом стоял на пути к рейсовому автобусу, соединявшему наш посёлок с центром города, так что пройти, минуя его, было невозможно. А конечная остановка автобуса была метрах в ста пятидесяти от нашего дома.

Идёшь на автобус или с него по дороге домой и видишь, что в саду или в огороде у Сюрчихи кто-то копается в земле. Чаще всего это была она сама, хотя временами там я замечал и хозяина. Довольно высокого, сухопарого мужчину, редко когда вступавшего с кем в разговор.

Был он, как говорится, при этом большим любителем Бахуса, что никогда в наших краях особо не поощрялось, хотя и не осуждалось категорически.

При том адском физическом труде, как я понимаю, который повсеместно практиковался в разорённой войной стране, по-другому было, видимо, нельзя. Не выдерживал иначе чрезмерных физических нагрузок человек.

И я прекрасно помню те времена, когда возле всех проходных завода «Запорожсталь», а было их по периметру предприятия не менее двух десятков, в круглосуточном режиме исправно функционировали небольшие деревянные хибарки с привычным названием «Киоск», в которых идущий после смены рабочий люд легко мог отовариться таким согревающим предметом, как «Московская водка» или «Украинская горилка», выпить поллитровую кружку холодного пива или же просто слегка перекусить — съесть на закуску пару-тройку свежеприготовленных пирожков.

Причём цены на всё это были вполне божеские. Скажем, тот же пирожок, причём очень хорошего качества, стоил сущие копейки — в зависимости от начинки. Самый дешёвый, с картофелем, — четыре копейки, с капустой — шёл по пять, и только пирожки с ливером или с мясом стоили дороже — от семи до десяти копеек.

Причём в них были настоящее мясо и настоящий ливер, а не растительный белок или соя, как это практикуется сейчас.

Потом, правда, уже в хрущёвские времена, эти питейные заведения у заводских проходных начали одно за другим закрываться, пока не исчезли совсем. И теперь на их месте густо колосится степной бурьян...

Был у Сюрчихи, помимо её мужа, ещё и сын, Сашко, единственный, как мне помнится, в семье. Тоже такой же неразговорчивый, как его отец, и был он лет на пять старше меня.

Отличался он от своих сверстников, пожалуй, только своим почти двухметровым ростом, и одно время даже ходили разговоры, что его пригласили играть в городе за какой-то баскетбольный клуб. Но вот что было дальше, я не знаю.

Виделись мы с ним нечасто, просто здоровались при встрече, и всё. Впрочем, как и со всеми остальными Сюрками. Хоть и не близкие, но всё же соседи.

Один только раз у меня возник к этой семье неподдельный интерес — когда отец, вернувшись с работы, буквально огорошил нас с матерью известием:

— А Сюрко-то зависылся!..

Сразу же появились вопросы: как? почему? отчего?

Но этого никто не знал. Отец, правда, не преминул, конечно, съязвить при этом матери, назидательно глядя на неё, что Сюрчиха, наверное, крепко пилила его день и ночь за то, что тот иногда выпивает. Вот человек и не выдержал, повесился с горя...

Моя мать этот намёк пропустила мимо ушей, а только вздохнула горестно. Всё ж таки жалко человека, да и как теперь Сюрчиха будет управляться одна?..

А я, проходя теперь частенько мимо Сюрчихино дома, волей-неволей поворачивал в его сторону голову и облегчённо вздыхал, видя, как тётя Нюра, так её на самом деле звали, уже только одна копошится на своём огороде или в саду.

Но с годами и она начала сдавать, становилась всё суше и суше, как-то даже незаметнее, пока, наконец, настолько сгорбилась и согнулась, что без сучковатой деревянной клюки не могла уже и шагу ступить.

Такой она мне и запомнилась — с деревянной клюкой в чёрных и костлявых руках, сгорбленная и седая... А потом я уехал из Запорожья и домой теперь навещался только наездами летом.

Помню, как радостно встретили мои родители первые горбачёвские перемены, и особенно начавшиеся послабления в предпринимательской деятельности.

Нет-нет да и на их улице стали появляться приткие «покупцы», отношение к которым у старых людей было поначалу доброжелательным. Они приезжали на окраины города на выдавших виды легковушках, знакомились со стариками, осматривали в их садах плодовые деревья и тут же, на корню, скупали урожай. Чтобы потом, на другой день, перепродать его с выгодой для себя на городских базарах.

Для людей, у которых фрукты, как правило, наполовину пропадали, это было сродни чуду, подарком свыше. Такие покупатели сами лазали на деревья, сами срывали плоды и аккуратно упаковывали их в деревянные или в картонные ящики.

И тут же расплачиваясь за них с хозяевами.

Причём цены они устанавливали вполне божеские. Например, десятилитровое ведро калиброванных абрикосов, а такие абрикосы не уступают по величине персикам, однако на порядок их вкуснее и нежнее, они брали у стариков за три советских рубля. В то время как на большом городском базаре в Запорожье, где я сам покупал их для варенья, те стоили всего на рубль или два дороже.

И жизнь городских окраин, где и созревало девяносто процентов того, что продавалось потом на городских рынках крупного промышленного центра, заметно оживилась. Люди почувствовали реальную выгоду от своих садовых насаждений и стали ухаживать за деревьями.

В том числе и мой отец. Обрабатывать весь сад, как в прежние годы, ядохимикатами он уже, конечно, не мог, но зато я часто его видел с секатором в руках, обрезающего засохшие ветки, формирующего крону деревьев.

Словом, рынок, пока ещё тот рынок, советский, пришёл и на наши городские окраины...

Потом, правда, сказала наша славянская терпимость или толерантность, называйте это как хотите, но мало-помалу местных покупателей на наших улицах стали вытеснять кавказцы. Мы их по национальностям ещё не различали, но торговаться они умели. Не продашь как нам надо — ночью сами бесплатно оборвём.

И старики сдавались. А цены на фрукты (правда, только закупочные!) резко пошли вниз...

Но и это было всё же намного выгоднее, чем закапывать урожай в землю. К тому же машины у новых хозяев жизни были поновее, попрестижнее, держались они все гуртом, кучкой, да и по деревьям сами не лазали, а привозили с собой всякий бездомный люд, с которым расплачивались, как я это не раз видел, не наличными деньгами, а какой-то мутноватой, коричневого цвета, жидкостью.

По-видимому, чачей, как я теперь понимаю... И родителям моим это очень не нравилось.

Однако же, вкусив «живую копияку», как говорила моя мать, люди не отказывались от хорошей добавки к неплохим тогда пенсиям, заработанным на заводах, особенно пройдя недавно по очередной в нашей стране волне борьбы с нетрудовыми доходами. Ты попробуй всё это вырастить, довести до ума, а уж потом объявляй их нетрудовыми — так считали на нашей улице.

И в один из таких летних августовских дней матери захотелось свежих арбузов и дынь с рынка, а в государственной торговле на них ещё был не сезон. Арбузы, правда, в магазинах уже были, но только херсонские, а матери хотелось «Огонька», да и продавались они для юга ещё дороговато.

Словом, была передо мной поставлена задача: нарвать пару вёдер лучших наших груш, «Немки», доставить на рынок, там продать, а на вырученные деньги купить бахчевых.

Подходить же отцу к дереву, я это знал, было строжайше запрещено. Во-первых, в таком возрасте по деревьям уже не лазают, и у него вестибулярный аппарат был давно на нуле. А во-вторых, постарев, отец перестал различать цвета, и его всегда почему-то стало тянуть на зелёные плоды, в то время как рвать для продажи, да и для еды тоже, надо было только спелые.

В общем, получив задание, я вскарабкался на «Немку» и в течение получаса наполнил два десятилитровых эмалированных ведра отборными душистыми плодами.

А так как груши были действительно на загляденье, то я, не слезая с дерева, попросил у матери ещё два пустых ведра: уж если кутить — так кутить...

Их я, не слезая с дерева, заполнил их с такой же скоростью, как и два первые. А спрыгнув затем на землю, с удивлением обнаружил, что плодов на «Немке» почти не убавилось. Так, еле заметно, чуть-чуть...

Но теперь встала другая проблема: как всё это дотащить утром до автобусной остановки? На помощь отца я не рассчитывал — ему после двух перенесённых уже инсультов делать это было опасно.

А нести по два полных ведра в одной руке никак не получалось. Хотя мать аккуратно связала их по два полотенцами, но четыре ведра сразу оказались неподъёмными и для меня.

Донести я, быть может, и донесу, но что потом скажет мой остеохондроз?

И тогда я предложил метод переноски всевозможных тяжестей, не раз мной опробованный на практике во время моих частых переездов по стране: перенести всё это до автобуса «жабьими шажками».

— А это как же? — оживился отец.

— Да очень просто. Вы стоите и ждёте меня. А я с двумя вёдрами иду от вас по дороге метров

тридцать-сорок. И, поставив их так, чтобы их было видно, возвращаюсь за теми, что у вас. В то время как вы в это же время идёте на моё место. С вашими вёдрами я прохожу уже метров шестьдесят-восемьдесят, и потом всё снова повторяется.

На том мы и порешили. И, довольная тем, что нашлось решение этой, казалось бы, неразрешимой проблемы, мать бережно завернула сверху груши марлей (чтоб не пылились!), и я их отнёс на ночь в погреб.

А утром, встав спозаранку и наскоро перекусив, я вынес эти вёдра из погреба, и мы «жабьими шажками» направились в сторону автобусной остановки — первый автобус отправлялся в центр города по расписанию без пятнадцати минут шесть.

Один «шажок», второй, и постепенно мы предали с отцом почти половину пути. Как вдруг он остановился и стал пристально вглядываться через забор на Сюрчихино подворье — мы в это время как раз поравнялись с её домом.

— Нюра, це ты? Шо ты там робышь?

Ночи в конце августа стремительно прибывали, но всё-таки было уже полшестого утра, и на востоке начинало розоветь.

Вглядевшись в расплывающуюся темноту, я увидел лежащую на огороде человеческую фигуру, в руках у которой была с коротким черенком лопата.

Это была Сюрчиха!

Услышав моего отца, она на мгновение затихла, потом повернулась в нашу сторону и немножко приподнялась, опершись на локоть.

— Це ты, Петя? (Так звали моего отца.) На базар едете? А я копаю картошку, хочу зварить на завтрак!

— А почему лёжа? — не унимался отец.

Сюрчиха с ответом помедлила.

— Так я уже давно не хожу. Радикулит проклятый. А исты-то треба!

Отец постоял ещё немного, гмыкнул негромко, потом повернулся ко мне:

— Ты бачишь, яка людина?.. Ходить не може, а картошку в огороде копае...

Однако надо было спешить, и мы снова всё теми же «жабьими шагами» устремились вперёд, к автобусной остановке. И когда рейсовый автобус наконец подошёл и мы погрузились в него (кстати, ещё один небольшой штришок для нынешнего чиновничьего люду: весь автобус был набит вёдрами с дарами здешних садов, но никакой платы за их провоз в общественном транспорте при советской власти не требовалось. Как никогда не платил я за это и в тогдашних поездах, хотя ежегодно увозил из Запорожья в заполярную Воркуту по полтора-два центнера различного груза — огурцов, помидор, варенья, консервов... Объявление такое, правда, висело в вагонах, что бесплатно разрешается провозить в поездах только

тридцать пять килограммов ручной клади, но ни разу проводники не воспользовались своим правом оценить мой багаж. Наверное, понимали, куда люди едут...), то мой словоохотливый обычно отец, у которого в знакомых было пол-Украины, неожиданно смолк и всё повторял тихонько про себя: «Яка людина...»

Но вот, наконец, мы у цели: в нескольких десятках метров от нас — центральный рынок Соцгородка, или, как мы его называли в обиходе, Шестого посёлка. Отсюда инженерная элита ещё первых сталинских пятилеток уходила и на возведение Днепрогэса — он менее чем в сотне метров от посёлка, и на объекты могучего промышленного комплекса — Днепростроя, дым от работающих там сейчас заводов застилал половину лазоревого запорожского неба.

Пройдёшь от рынка к Днепру пару коротких переулков — и сразу выходишь на громадную фигуру самого высокого на Украине памятника Ленину, установленного на съезде к днепровской плотине «видвдячного украинского народу». Что не помешает, однако, тому же народу несколько десятилетий спустя распилить многотонную бронзовую фигуру вождя на куски. А также сбить громадные ордена с барельефа плотин, установленного на круче.

Но всё это произойдёт потом, спустя много лет, а пока соросовские учебники, по которым будут учиться потомки, ещё пылятся на книжных складах, и нет никакой возможности у наших «партнёров» доставить их на территорию тогдашней могучей советской империи.

Тем же способом, «жабьими шажками», мы добираемся с отцом до торговых рядов рынка, и я с любопытством осматриваю знакомые деревянные сооружения. Когда-то, работая в Запорожье редактором заводской газеты, я делал её здесь, прямо на рынке. Да вот же она, эта типография, так и стоит! И пока корректор читала газетные тексты и вносила в них необходимые правки, у меня в запасе было два-три часа свободного времени, которые я либо проводил здесь, питаюсь чебуреками, либо же шёл прогуляться к Днепру.

Так что этот рынок, рынок Соцгородка, я изучил как свои пять пальцев.

Чего только на нём не было! Ну, на фруктах и овощах останавливаться не стоит, это и так понятно — всё-таки Украина. Но в его миниатюрных магазинчиках можно было найти любой товар, разве что кроме волшебной лампы Аладдина. И одежда, и обувь, и предметы искусства и быта, и даже такие вещи, как парфюмерия и косметика. Причём всё это — только отечественного производства, без всякого китайского и турецкого ширпотреба.

Помнится, как-то отец попросил меня купить ему навесной замок — для чего-то понадобился по хозяйству, и я отправился за ним в первый же свой рабочий день в магазин «Скобяные товары».

Боже ж ты мой, какой меня ждал выбор! Несколькое сот замков было аккуратно выложено на длинном деревянном прилавке, и каждый со своим фокусом. И тоже все — только советского производства.

Правда, при покупке они в лучшем случае упаковывались в невзрачную картонную коробочку с неразборчивыми шрифтами на лицевой стороне, а то и просто в жёлтую (руды, как говорят на Украине) бумагу, но что касается их качества...

Это были настоящие Т-34, а не замки. Работали, не ломаясь, по сто лет.

Рассказываю я о второй половине семидесятых годов прошлого века, когда правящая в стране партия выдвинула лозунг: «Товары — для народа!» — и эти товары действительно хлынули на отечественный рынок мощным потоком. Кто же знал тогда, что всех нас ждёт впереди?..

Быстро сориентировавшись в ситуации, отец легко нашёл на деревянных рядах «своё» место: несмотря на раннее утро, людей на рынке было уже много, — и уже оживлённо о чём-то говорил со своими соседями.

А я, поставив возле него четыре наших ведра, отправился на другой конец рынка, в весовую, куда всегда была небольшая, в несколько человек, очередь.

Дождавшись своей очереди, я протянул весовщице десять копеек и получил от неё что-то похожее на автобусный билет. Этим я оплатил так называемое местовое, то есть место на рынке, дающее мне право торговать чем угодно на нём до самого закрытия. То есть — до восьми часов вечера.

Но мне нужны были для торговли ещё и весы, поэтому я добавил весовщице ещё двадцать пять копеек и получил от неё желаемый измерительный прибор — вместе с коробочкой, в которой находились гири.

И на этом всё. Никакого залога, ни денежного, ни иного, оставлять тогда не полагалось. Как и платить каких-либо дополнительных налогов — тоже. Всё это входило в те тридцать пять копеек, которые я оставил властной, но доброжелательной на вид женщине, занимающейся на рынке организацией торговли.

Нелишне было бы напомнить сегодняшним властям и о том, что пенсия у моего отца была максимальной для рабочего человека в те времена — сто двадцать рублей в месяц. Поэтому я и запомнил от него, окончившего в своей жизни всего три класса церковно-приходской школы, что главный рыночный постулат звучит так: «Рынок — это когда всем выгодно: и государству, и продавцу, и покупателю. Иначе это не рынок, а махлёж...»

Мой отец постоянно придумывал новые слова, и в этом ему не было равных. Поэтому это слово «махлёж» я впервые услышал от него, ещё не умея

читать. По-видимому, он образовал его от украинского слова «махлюваты», то бишь обманывать.

Но понимали его все без перевода.

А пока он занялся установкой полученных от меня базарных весов, тщательно подгоняя их под стрелку, чтобы не было «махлежа», а мне дал задание пройтись по торговым рядам и выяснить, кто чем торгует и почём.

Я без труда справился с этим заданием, так как в те времена, о которых я рассказываю, на наших рынках продавали свой товар только люди, как сказали бы сейчас, славянской национальности. Никаких представителей с Кавказа или со Средней Азии тогда ещё не было.

Нет, правда, вру: была на рынке Соцгородка в Запорожье пара грузин, один из которых продавал аппетитного вида гранаты, которые тогда редко кто покупал (один рубль двадцать копеек за килограмм), а второй торговал специями. Душистый перец, хмели-сунели, лавровый лист (пакетик с последним стоил тридцать копеек).

Выяснив, что и как, я уже через десять минут стоял перед отцом с докладом.

— Ну шо? — повернулся он ко мне. — Чим там людэ торгують?

— Груш на прилавках достаточно, — по-военному чётко доложил ему я. — Но таких, как у нас, нет. Продаются «Дули», хорошие груши, как у нашего дедушки были на хуторе. По рублю за килограмм. Есть ещё «Дюшес», за эти просят семьдесят копеек. А вот «Мушкатка», причём хуже, чем у нас дома, идёт сегодня по четыре целковых. «Немки» же ни у кого нет. . .

Отец в ответ только хмыкнул, довольный. У нас с собой была как раз «Немка», все четыре ведра. — Тогда вот что, — сказал отец, — Раскрывай первое ведро и объявляй, что мы продаём по сорок копеек за килограмм.

— По сорок копеек? — удивился я. — А не слишком ли это дешёво?

— Дёшево? — в свою очередь удивился отец. — А ты хочешь, чтобы мы тут до вечера с тобой стояли? Я матери обещал через два часа быть дома.

Ну а потом он, разумеется, как всегда, добавил мне ещё и про рынок, на котором должно всем быть выгодно. В том числе и покупателю.

Но покупатель сориентировался уже сам. Увидев, какой перед ним товар, он давно выстроился в очередь, а когда узнал ещё и его продажную цену, то очередь стала расти на глазах.

Не прошло и получаса, как отец старательно упаковывал одно в одно моментально опустевшие ведра, и я снова понёс наши весы — сдавать обратно весовщице.

Наверное, она меня запомнила, потому что, увидев, спросила:

— Что, уже всё продали?

— Дурное дело нехитрое, — ответил я ей.

И через минуту мы ходили с отцом по торговым рядам, и он выбирал для матери, да и для себя тоже, арбузы и дыни. В этом деле он был непрезойдённым мастером. А затем поспешили на автобусную остановку, чтобы уехать домой.

— А у тебе хоть гроши на дорогу остались? — спросил на ходу отец.

— Да что ж у меня, гривенника не найдётся в кошельке на двоих? — удивился я. — Доедем!

И через полчаса мы уже сидели дома перед матерью и выкладывали ей свои покупки. Пока я приводил с дороги себя в порядок, отец рассказывал матери о виденном утром — о том, как Сюрчиха лёжа копала себе на завтрак картошку. — А ты шо, не знав? — удивилась мать. — Так вона давно вжэ не ходе. Ей и хлеб с магазина Корнийчыха прыносэ. . .

— Яка людина. . . Яка людина. . .

Мать опять нас покормила, а я снёс в погреб привезённые с базара арбузы и дыни — чтобы те остыли к обеду. А поднявшись наверх, застал на столе большую эмалированную миску, доверху наполненную свежими, пахнущими мятной эссенцией пряниками.

— Цэ, пока вы ездиле на базар, я напекла, — гордо сказала мать, заранее предвкушая восторг, с которыми мы воспримем с отцом это известие.

Эти материны пряники, помимо всех своих прочих качеств, обладали ещё и уникальной способностью долго не черстветь, а месяцами сохранять удивительную свежесть, как будто их только за пять минут перед этим вынули из печки.

Как это всё у матери получалось, так и осталось для меня загадкой.

Попив с пряниками чай, я было потянулся за вчерашними газетами, отложенными мною для такого случая, но почитать не пришлось. Меня ждало новое задание.

Мать, убрав со стола посуду, достала из посудного шкафа небольшую эмалированную миску и доверху наполнила её пахнущими на весь двор пряниками.

— Возьмы, виднесы Сюрчихи. . . Тилькы мыску там не оставляй.

И вот я опять иду той же дорогой, по которой мы шли с отцом утром на автобус, только в руках у меня не наполненные грушами ведра, а завернутая куском марли миска с пряниками. Осторожно открываю калитку Сюрчихино дома и сразу же попадаю под истошный лай беснующейся на цепи собаки.

Можно было бы отдать ей для успокоения один пряник из миски, и собака бы утомилась, но мне стало его жалко, и я, прижимаясь спиной к стене давно не белённого дома, с трудом протиснулся на крыльцо.

Сюрчиха лежала на веранде на тахте точно в таком же положении, в каком мы её видели с отцом утром на грядке. Опираясь на локоть левой руки.

На необрунном столе стояла тарелка с недоеденной отварной картошкой и что-то там ещё, на что я старался не смотреть.

Увидев меня, она широко раскрыла от удивления свои глубоко сидящие на изрезанном морщинами лице глаза, но я назвал себя, и чёрное от старости лицо просветлело. А когда я сказал ей и о цели своего прихода, несчастная старуха даже попыталась улыбнуться.

Но мне с ней чаи гонять было некогда, и, быстро высыпав принесённые пряники прямо на стол, рядом с недоеденной картошкой, я попрощался и так же, как и заходил, вышел. На этот раз почти не обращая внимания на рвущуюся на цепи собаку...

Позже я не раз вспоминал этот эпизод, настолько крепко он врезался в память. И каждый раз не переставал дивиться мужеству этой старой и разбитой жизнью женщины. Уж кто-кто, а она, опираясь на свою деревянную клюку, легко могла бы сесть на углу своего садового участка и положить перед собой какую-нибудь старую посудину.

И люди, я уверен, кидали бы ей туда свою мелочь, чтобы облегчить Сюрчихино существование.

А вот не села. Решила до конца своего бороться за жизнь, бороться и не сдаваться.

Многие ли из нас могли бы похвастаться такой же волей?

Не знаю, как кто, а лично я перед такими людьми снимал бы свою шляпу. А то...

Иду на днях мимо Покровского храма в Красноярске, а навстречу мне детина, сильно пахнущий дешёвой сивухой.

— Подай, отец, на пропитание калеке...

— Тебе? Калеке? Да у тебя морда поросят бить просит, а ты на церковной паперти клянчишь! Сколько в Сибири земли свободной, сколько простора, возьми лопату, вскопай делянку в тайге и живи в своё удовольствие. Чего вы все боитесь? Начальства? А Бога, значит, не боитесь?

Или собрался недавно на утренний променад от своего дома до Октябрьского моста по острову Татышеву — и, не доходя немного до Стрелки, натыкаюсь на новое «приключение». Выбегает из полуподвального кафе здоровый верзила, от которого, несмотря на ранний утренний час уже разит шампанским.

И тоже не просто так, а с просьбой:

— Отец! Дай, пожалуйста, денег — нечем расплатиться в кафе...

Тут я в ответ прямо-таки взорвался:

— С какого такого бодуна ты это решил, что я специально вышел в такое раннее время в город, чтобы раздавать свою пенсию прохожим? А заработать себе денег не пробовал? (Тут внизу, откуда он только что выскочил, раздался залиvistый женский смех). И потом, милый человек, запомни одну вещь, раз ты назвал меня своим отцом: никогда не бери в свой рот спиртного, покуда пушка на

Караульной горе не выстрелит. Иначе пролетит твоя жизнь — ты и не заметишь...

Ей-богу, думаю, что услышь эти мои слова Сюрчиха, она была бы довольна...

А завершить свой рассказ мне хочется ещё одним штришком из прошлой жизни — из своей последней поездки в Запорожье, случившейся как раз в канун последующего потом на мой родной город бандеровского нашествия.

По давно заведённому правилу, когда бы я ни приезжал в родные края и где бы я при этом ни останавливался, но, отдохнув от дороги, назавтра всегда с раннего утра непременно отправлялся на деревенское кладбище к своим родителям. Они завещали нас похоронить их там, «у ставков», и мы это желание выполнили. И ещё один раз я бывал на этом сельском погосте, где были их могилы, — за день до своего отъезда из Запорожья.

Так было и на этот раз, когда ранним августовским утром я вышел из рейсового автобуса на родной городской окраине, где прошли мои детство и юность, и полной грудью вдохнул воздух, к которому привык с малолетства.

Располагается деревенский погост в красивейшем, на мой взгляд, месте, километрах в четырёх от нашего дома.

Идти к нему надо через поля, через лесозащитные полосы, появившиеся здесь ещё в сталинские времена, но потом без хозяйского ухода превратившиеся в непроходимые чащи.

Чуть выше кладбища тянется железная дорога, соединяющая Днепровский промышленный район с Донбассом и с Кривым Рогом.

По ней почти непрерывно идут или шли раньше грузовые поезда — с углём и рудой, с лесом и лесоматериалами, с различными строительными грузами.

Чуть реже ходили по ней пассажирские поезда, по которым мы узнавали, оторвавшись от дома, точное время.

Прошёл, скажем, на Запорожье с восточной стороны рабочий поезд — значит, ровно два часа дня. А если он идёт от нас в Ясиноватую или в Пятихатки — то это половина четвёртого.

Рядом с кладбищем напряжённо гудит от многочисленных машин, спешащих к южному морю, важнейшая для когда-то великой страны автомобильная магистраль Москва — Симферополь. Которая после распада Советского Союза почему-то вдруг превратилась в одностопную в автомобильную дорогу Харьков — Симферополь. А уж как она называется теперь, в наши дни, я и не ведаю...

Но строилась эта дорога на моих глазах, сразу же после войны, и строилась немецкими военнопленными, которым мы, с разрешения своих матерей, таскали хлеб и другую снедь, меняя всё это на хозяйственное мыло.

А подпирает сельское кладбище снизу большой и полноводный ставок, представляющий из себя

запруженную речку, густо поросшую камышом. Здесь проходило моё детство, здесь я постигал свои первые азы.

На противоположном берегу ставка располагается небольшое сельцо, которое именовали в те времена «Запорожской Сечью» — по названию одноимённого колхоза. Хотя на самом деле, это я выяснил уже потом, по карте, оно носило совсем другое название — Чапаевка. А как его кличут сегодня, известно разве что Богу...

Сойдя с автобуса, я захожу в стоящий рядом с остановкой магазин, покупаю для себя четвертушку водки, что-то из закуски, бутылку минеральной воды и иду в нужную сторону. Причём минуя своих родственников, не заходя по дороге даже в родительский дом, в котором я жил и вырос.

В такие минуты я хочу побыть один и не хочу общаться ни с кем.

По дороге на сельское кладбище меня встречают кусты садовой ежевики, которые упорно отвоёвывают себе место под солнцем у дикорастущей здесь малины. И я, не останавливаясь, прихватываю ладонью отливающие синевой ягоды, с удовольствием ощущая во рту полузабытый вкус детства.

Издредка встречается абрикос, но его время прошло, хотя если очень постараться, можно ещё отскать на деревьях чудом уцелевшие переспевшие плоды — большая их часть давно уже осыпалась на землю и гниёт, перемешавшись с листьями.

Также перегнивают и жёлуди от превратившихся в густую дубовую рощу саженцев, за которыми мы ухаживали на уроках ботаники в школе.

Дорога ведёт меня к ставкám, конца которым я не знаю. Когда-то специально попытался даже было найти самый первый из них в этом непрерывном ожерелье ставков, да так и не сумел. Проехал несколько часов вверх по течению реки на велосипеде, а они всё идут и идут один за другим. Наверное, так до самого Донецка.

Солнце в августе жарит почти как в июле, поэтому вся растительность в поле давно выгорела. Но возле ставков, в ложбинках, замечаю кровавые степные маки, жёлтые стебли дрока, голубые, как небо над головой, колокольчики...

Когда-то в детстве я знал названия всех без исключения трав в округе и очень этим гордился. Как и знанием звёздного неба, например, географии...

Но знания без применения забываются, и я просто срываю встречающиеся мне цветки, формируя букет.

Его я всегда оставляю на могиле своих родителей, потому что, кроме нас, своих детей, моя мать больше всего в жизни любила цветы.

А что может быть красивее цветов полевых?

Так что когда я приблизился к церковной ограде, то в руках у меня уже был увесистый букет.

Но на этот раз, войдя на погост через кладбищенскую калитку, я не пошёл, как обычно, сразу

к своим, а завернул чуть наискосок, чтобы подойти к ним с другой стороны.

Что-то меня так заставило пойти, а что — не пойму...

Но я сделал пару шагов в сторону — и остолбенел: прямо передо мной стоял врытый в землю покосившийся крест, изготовленный из уже изрядно поржавевших металлических труб. Давно заброшенная могила, поросшая жёлтой, выгоревшей на солнце травой.

Но я стою перед ней и не могу оторвать своих глаз. Потому что читаю на металлической табличке, приваренной к кресту, имя усопшей: А. Н. Сюрко.

А под фамилией — стёртые временем и зимними дождями (не разобрать!), неряшливо написанные даты её жизни и смерти.

Так вот где ты, оказывается, Сюрчиха...

Всё правильно, могила одинокая, самого Сюрка здесь нет, самоубийц по православным канонам на кладбищах не хоронят, так что удивляться нечему.

А что касается травы, то в этом тоже нет ничего необычного. Кто сюда, на деревенский погост, будет ездить из города? К своей живой матери её сын Сашко ходил, как мне помнится, редко, а зачем она ему теперь, мёртвая?

Впрочем, обрываю я себя, чужая душа — потёмки...

А потом ещё и добавляю шёпотом укоризненно, что не судите сами — не судимы будете...

Какое-то время стою возле этой одинокой и заброшенной могилы, а потом, для верности факта, обхожу её несколько раз по кругу.

Всё верно, это она.

Ну и на что мне эта женщина, скажите, пожалуйста? Ведь я о ней ничего не знаю. Ни-че-го! Ни того, с кем она была раньше, где работала, как жила, ни даже того, как пережила войну...

Чужой абсолютно человек...

Я даже не знаю того, когда она умерла.

А вот поди ж ты, не даёт почему-то покоя, хоть умри. Даже в Сибири о ней вспоминаю иногда. Будто она для меня самый близкий родственник. Ещё немного — и снится начнёт, если доживу до этого, конечно.

Вспомню, как мы идём мимо её дома с отцом, а она лежит в своём саду на боку и копает сапёрной лопаткой себе картошку на завтрак...

Какая жажда жизни! Какой неуёмный человеческий дух!

«Яка людына», говоря отцовскими словами...

Я отщипываю от своего роскошного полевого букета добрую треть собранных по дороге на кладбище цветов и осторожно возлагаю их у подножия давно не крашенного металлического креста.

Спасибо тебе за науку жизни, тётя Нюра! И пусть тебе будет пухом наша жирная украинская земля!